

18+

СЕРГЕЙ МАРКОВСКИЙ

АХРОМАТ



Марковский Сергей

Ахромат

«Издательские решения»

Сергей М.

Ахромат / М. Сергей — «Издательские решения»,

Город Гланцштадт живёт по закону Цвета Года — единственной краски, разрешённой в одежде, архитектуре и мыслях. Художник-дальтоник Яков Грау пишет в серых тонах полотно колоссальной эстетической силы, которое заставляет людей становиться лучше. Система не допускает отклонений от главного курса — автора картины арестовывают по надуманному обвинению. Теперь ему предстоит выбор: предать своё творение или остаться собой, заплатив за это высокую цену.

© Сергей М.

© Издательские решения

Содержание

Часть первая.	6
Глава первая. Приказ №174	6
Глава вторая. Ахромат	11
Глава третья. Стекланный кабинет	16
Глава четвёртая. Тайная каморка	22
Глава пятая. Оратория Света	27
Глава шестая. Сила Света против силы Цвета	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ахромат

Марковский Сергей

Корректор Анна Асонова

© Марковский Сергей, 2026

ISBN 978-5-0070-7889-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая.

Бирюзовая лихорадка

Глава первая. Приказ №174

Небольшое рельефное облако, обогнув шпиль собора, наплзло на солнце, и жара почти сразу из невыносимой стала вполне терпимой. В летнем кафе «Готлиб», расположенном на площади Святого Исаака Ньютона, все столики были заняты. Во-первых, над каждым из них был раскинут широкий полотняный зонт от солнца. Это могло себе позволить не всякое заведение, например, в кафе «Карл Фридрих тоже любил булочки» на другой стороне площади такого не было. Во-вторых, площадь находилось в самом центре города, что само по себе привлекало посетителей, в отличие, скажем, от заведений на его северной окраине, на которой мало кто живёт. И, наконец, в-третьих, и это главное, сегодня было двадцать второе июня — день, следующий за днём летнего солнцестояния, а это значит, что вчера начались десять дней государственных праздников. Поэтому и в кафе «Готлиб», и в тоже любившем булочки «Карле Фридрихе», и во всех заведениях на северной окраине, на которой мало кто живёт, народу хватало. Горожане, законно покинув свои рабочие места, высыпали на улицы: они поздравляли друг друга, делились новостями, кто-то просто пил пиво, не делая различий между праздниками и буднями. Почти все посетители кафе «Готлиб» были одеты в одежду бледно-оранжевого цвета, по-научному называемого «охра». В фартуки и рабочие костюмы того же цвета были одеты и официанты. Заезжему иностранцу такая мода могла бы показаться странной, потому что, как и любой цвет, охра был к лицу не каждому.

Только два молодых человека, сидящие за отдельным крайним столиком у самой границы площади, разительно отличались от остальных, привлекая к себе ненужное им внимание.

Человеком в серой рубашке и такого же цвета широких льняных брюках был Яков Грау — местный художник двадцати восьми лет. Несмотря на свой не окончательно зрелый возраст, он уже был довольно широко известен в довольно узком кругу. Подтверждением этому служил тот факт, что находились небедные заказчики, чаще — заказчицы, которые были не прочь заполучить свой портрет, пусть даже не на лошади и не в полный рост, исполненный этим рисовальщиком «не для всех». Яков был высок, худощав, его жилистым крепким рукам, судя по их виду, в жизни доводилось держать и что-то потяжелее кисти и палитры. Его волосы соломенного цвета были зачёсаны налево, но пробор аккуратностью не отличался. На столе перед ним рядом с маленькой бледно-оранжевой чашкой с кофе лежал серый берет, резко контрастировавший с охряным цветом скатерти, приборов и самого стола и показывавший принадлежность его хозяина к братству живописцев. Художник периодически бросал на него взгляд, будто опасаясь, что тот самостоятельно уползёт со стола.

Его сосед, восседавший напротив, был одет в бирюзовый камзол и узкие бирюзовые брюки, доставлявшие грузному хозяину большие неудобства. Этим соседом был Томас Кляйнер, занимавший должность смотрителя за палитрой в Министерстве Эстетической Гармонии. Он был приземистым толстяком с широким смешным веснушчатым лицом и карими глазами, которые постоянно щурил по причине близорукости. Его рыжие недавно пышные волосы пару лет назад начали борьбу с появляющейся залысиной, причём борьбу эту выигрывала залысина.

Яков и Томас дружили столько, сколько себя помнили. Дома их родителей, ставшие потом их домами, стояли друг напротив друга по разным сторонам одной неширокой улицы. Тогда эта улица ещё называлась Вишнёвой. Это уже потом, когда Министерство запретило упо-

минать цвета в географических названиях, она стала улицей Образования, в честь центральной городской гимназии, стоящей неподалёку. Напрасно местные жители писали в инстанции, что Вишнёвой их улица называлась не из-за цвета, а потому что здесь в изобилии росли вишни, которыми в первой половине июля мог угоститься любой прохожий, сорвав их с веток, перегибающихся через заборы. Магистрат с Министерством не спорил, и в один прекрасный день рабочие прибили к домам новые таблички, уведомлявшие жителей, что теперь они живут на улице Образования. Яков Грау и Томас Кляйнер тогда пожали плечами и продолжили жить и дружить, не перестав при этом любить вишнёвое пиво и не став более образованными. В конце концов улицу могли назвать как-нибудь иначе, скажем, Дисперсионной или Дифракционной, и это было бы хуже.

Сейчас, стараясь не обращать внимания на соседей, некоторые из которых разглядывали их совсем уж бесцеремонно, товарищи продолжали начатый разговор, который касался темы, обсуждаемой сегодня всеми.

— Итак, Приказ №174 вышел, — констатировал Томас, сделав глоток горячего кофе. — Со вчерашнего дня Цвет Года — бирюзовый.

С этими словами он довольно хлопнул себя по животу, облачённому в новый камзол, как бы в подтверждение своих слов. Живот слова подтвердил, издав еле слышный внутренний звук, доказывающий наличие в нём отдельной жизни.

— Ну теперь-то уж точно всё будет хорошо, — улыбнулся Яков. — Закончатся войны, прекратится голод, исчезнут нищие, а фрау Кланглих наконец уберёт свою тележку с нашей улицы, и она не будет мешать водовозам.

— Насчёт фрау Кланглих не уверен, — с сомнением сказал Томас, — но жизнь действительно должна стать лучше. Надоела эта охра хуже горькой редьки.

— А не ты ли год назад радовался, когда охра сменила малиновый? Не ты ли утверждал, что вот сейчас-то и наступит Царствие Небесное? «Охра — цвет надежды!» — разве не твои слова? И точно так же хлопал себя по своему неуёмному пузу, которое в прошлом году было чуть меньше. Что теперь цвет надежды — бирюзовый?

— Бирюзовый — цвет гармонии и умиротворения, — серьёзно ответил Кляйнер. — Он являет собой всю древнюю мудрость, накопленную людьми с первобытных времён. Этот цвет защищает от злых духов.

— А что, охра от злых духов больше не защищает? Или будет защищать ещё до конца июня? Как там принято у вас в Министерстве?

— Яков, ты же сам всё прекрасно знаешь, — ответил Томас. — Каждый год на рассвете дня летнего солнцестояния наш министр наряжается в костюм Верховного Канцлера Эстетики и входит в специальную Призматическую камеру. Это отдельная комната на крыше нашего министерства. Там на нашего шефа через сложную систему линз и призм обрушивается луч чистого белого света. В этой комнате под воздействием каких-то высших сил он «видит» Цвет следующего года.

— Непонятно только, зачем он в комнату эту ходит. И странно, что он только цвет года видит, а не пророчит будущее, как старик Зайфер с соседней улицы. Из всех его предсказаний, правда, сбылось только то, что его посадят в тюрьму за пьянство.

— Осторожнее! — Томас выразительно поднял брови. — Ты забыл, где я работаю? Не будь ты моим другом, я должен был бы сдать тебя полиции.

— А друга, значит, не должен? У вас где-то написано, что друзья хранителей палитры, высмеивающие богоподобного Зигфрида фон Гельба, освобождаются от ответственности? Так дай мне такую справку, я предъявлю её фрау Кланглих, может, тогда она, наконец уберёт свою чёртову тележку.

— Не кипятись, — примирительно ответил Томас. — Ей теперь тележку эту в бирюзовый цвет придётся перекрашивать. Цвет не самый дешёвый, может, она и продаст свою колымагу.

— До сих пор поражаюсь, как весь город умудряется за десять дней праздников полностью перекраситься. Ведь всего лишь через неделю с небольшим все эти люди, которые сейчас так на тебя пялятся, будут сами одеты в бирюзовое, сидеть на бирюзовых стульях и пить кофе из бирюзовых чашек. А уже с начала июля ты и твои коллеги будете ходить по городу и штрафовать любого, кого заметят в охре. Даже заяц меняет свою шубку зимой за два с половиной месяца.

— Так человек умнее зайца и организованнее его, — как бы защищая людское превосходство, сказал Томас.

— Организованнее — возможно. Насчёт «умнее» можно поспорить. Зайцы ограничиваются только шубкой. Они не перекрашивают норы. И Министерства Цветовой Гармонии у них тоже нет.

— Так это традиция, Яков. Прекрасная старая традиция. Вчерашний приказ вышел за номером 174, это значит, что вот уже сто семьдесят четвёртый год подряд в день летнего солнцестояния наш город меняет цвет и каждый горожанин обязан облачиться в одежду Цвета Года, перекрасить стены своего дома, сменить обои в комнатах, обновить или просто покрасить мебель и посуду. Что же касается штрафов: на то и даются десять праздничных дней, чтобы люди могли перестроиться. Это переходный период, когда одновременно допустимы два цвета.

— Самый яркий период в году, между прочим, — ответил художник. — Не так скучно, хоть какое-то разнообразие, пусть даже оттенка всего два.

— Ну всё-таки не два. Заметь, мы поступаем гуманно, мы не меняем естественные природные цвета: никто не красит траву, деревья и домашних животных. Поэтому листва остаётся зелёной, лошади вороными и гнедыми, а вишня на нашей улице вишнёвой.

— Ты ещё поставь в заслугу министерства, что вы не красите землю и снег, — Грау расхохотался и поставил чашку с кофе на стол, чтобы не разлить напиток. — Держу пари, если бы у барона Фарбера были бы возможности, он покрасил бы и снег, и даже воду в нашей реке.

— Барон Отто фон Фарбер, — назидательно сказал Томас, подняв указательный палец, — опора нашего государства! На его фабрике, производящей краски, держится вся наша экономика. Его мощностей хватает не только на наш Гланцштадт, но и на всю страну, пусть даже она не такая большая, как Бавария или Саксония. Он даёт людям рабочие места, он платит налоги, кроме того он скупает у граждан и продаёт соседям остатки товаров прошлогоднего цвета.

— Имея на этом баснословные прибыли, — закончил за друга Яков. — Кроме того, хочешь не хочешь, а краску людям всё равно нужно будет покупать. Цвет, как ты сам сказал, не дешёвый, а новую одежду на службе выдают только чиновникам. Но посуду и мебель даже тебе всё равно придётся красить или менять. Простые горожане стены домов перекрашивают за свой счёт. Подумай, сколько денег казна получает за эти «праздники». Для фон Фарбера и министра финансов это действительно праздник, а для простого обывателя нет. Да, на работу можно не ходить, но в это время нужно заниматься покраской, обновлением гардероба и тратить много денег.

— Но на этом уже почти двести лет держится экономика нашего государства, — Томас выглядел обиженным и пытался оправдаться.

— Ты вот мне лучше скажи, когда тебе выдали твой камзол?

— Вчера, после утренней переклички в Министерстве.

— И сколько человек работает в Министерстве?

— Считая всех надзирателей за палитрой, тысячи полторы, — ответил Томас, моргнув глазами. Он не понимал, куда клонит его друг.

— А теперь подумай. Ваш шеф, нарядившись «Верховным Канцлером Эстетики», около пяти часов утра входит в контакт с вселенной и объявляет цветом года бирюзовый. И уже через четыре часа после переклички вам вручают полторы тысячи служебных мундиров, камзолов,

рубашек, панталон (или что там ещё вам положено) именно бирюзового цвета. И три тысячи башмаков, если у вас нет одноногих. Причём, заметь, покрашены не готовые костюмы, а сама ткань, из которой они пошиты, пусть даже и на швейной фабрике того же самого фон Фарбера. Тебе не кажется это странным? Когда они всё успели?

Надзиратель за палитрой задумался.

— Ну, — неуверенно ответил он, — может, у нас есть резервные запасы одежды?

— Всех цветов? Не смеши меня! Кто знал, что вашему пророку вселенная подскажет именно бирюзовый, а не, скажем, сиреневый?

— Может, на фабрике у Фарбера специальные смены в этот день работают, чтобы с повышенной нагрузкой справиться? Да, должно быть так. — Найдя для себя объяснение, Томас Кляйнер довольно откинулся на спинку стула, рискуя сломать её своим весом. Он посмотрел на здание собора, которое возвышалось над площадью. — Кстати, церкви мы тоже не перекрашиваем.

— И тем не менее через неделю все священники будут ходить в бирюзовых сутанах, — улыбнулся художник. — Это так, к слову. А соборы вы красить не стали, потому что не совсем дураки сидят в вашем министерстве. Если не хочешь бунта, не обижай священников, ибо религия — это самый надёжный помощник любой власти. После армии и полиции, конечно, но ведь и солдаты и полицейские тоже ходят в церковь. Ты, кстати, не знаешь, почему только в нашей стране Исаак Ньютон является святым?

— Как почему? Потому что он автор теории цвета в современной оптике. Это именно он разложил белый свет на все существующие цвета. Его теория — основа нашей веры в силу цвета.

— Но какое отношение сам Ньютон имеет к лику святых, великомучеников, сподвижников и прочих апостолов? Насколько я знаю, он отрицал Святую Троицу и вообще, между нами говоря, был англичанином, то есть не имел никакого отношения к нашей церкви. А святым у нас он стал потому, что государственная идея, подкреплённая верой, — это как пиво, разбавленное спиртом: она крепкая, выносит мозг и нарушает координацию.

— Заканчивай эти разговоры, дружище. Если нас кто-нибудь услышит, мне таки придётся сдать тебя полиции. В противном случае донесут уже на меня. Посадить не посадят, но с работы выгонят точно, а такую работу мне больше никогда не найти. Кто тогда будет кормить мою жену и маленькую Марту?

Два месяца назад молодая жена Гретхен осчастливила надзирателя за палитрой прибавлением в семействе, и с тех пор Томас стал больше ценить свою службу, никогда на неё не опаздывал, кланялся начальству ниже обычного и вообще вёл себя примерно.

Яков понял, что его товарищ привёл последний железный аргумент, и спорить перестал. Посидев в кафе ещё четверть часа, друзья пошли в сторону дома. Томас предложил зайти на ратушную площадь, послушать традиционную речь министра Эстетической Гармонии, но Яков резонно ответил, что завтра они смогут прочитать её в газете. Учитывая, что их дома были соседними, путь до улицы Образования товарищи проделали вместе.

Томас должен был проконтролировать маляров, которые перекрашивали в бирюзовый стены его дома. Как государственному чиновнику эти работы ему оплачивала казна. А вот обои, мебель и посуду нужно было менять самому, но на этот случай Кляйнер отложил деньги ещё весной, когда получил премию к Пасхе. Яков Грау тоже спешил домой: через час должна была прийти заказчица позировать для портрета, нужно было подготовить кисти и палитру.

По дороге в родной район, а она шла через весь центр Гланцштадта, друзья имели возможность наблюдать несколько интересных картин. То тут, то там уже появлялись люди в бирюзовых одеждах: это были горожане побогаче или просто те, кто не любил откладывать дела на последние дни и не хотел рисковать и нарываться на штраф. Дамы, даже небедные, комбинировали свой гардероб, сочетая в нём новый бирюзовый с ещё не до конца отменённой,

а потому допустимой охрой. Пару раз, — один раз на Ратушной площади, второй — около рынка, — им попались мужчины в серых одеждах, схожих по цвету с нарядом Якова Грау, но без беретов, так что художниками случайные прохожие, скорее всего, не были.

Как небольшие волчки стаи проходили бригады маляров: это было их время, которого они ждали почти целый год. Работа в городе предстояла большая. И если сегодня многие бюргеры ещё наслаждались началом праздников, уже завтра-послезавтра им придётся заняться домашними хлопотами. Магазины, торгующие мебелью, посудой и одеждой, будут делать выручку, весь город как минимум на неделю утонет в запахе акриловой краски.

Уже первого июля кто-то будет подсчитывать прибыли, а кто-то считать расходы, думая, как свести концы с концами до дня выплаты жалования. Если же окажется, что у кого-то, скажем, не хватило денег на дорогую бирюзовую краску, к работе приступят коллеги Томаса Кляйнера — надзиратели за палитрой. Они помогут бедолаге продать его дом тому, кто сможет соответствовать Гармонии. Самому же бывшему владельцу найдут жильё попроще и подешевле либо предложат переехать в приют или близлежащую деревню: в конце концов, жизнь в столице — это роскошь, позволить которую может себе не каждый.

Дойдя до середины улицы Образования, друзья расстались, пожав друг другу руки. Томас зашёл в дверь ещё охряного цвета, но уже на бирюзовом фасаде, Яков же, перейдя улицу, прошёл через калитку и зашёл в обычный серый дом, вызывающе стоявший на улице так, как стоит старое сухое дерево в окружении аккуратно подстриженных зелёных акаций.

Поднявшись по серой лестнице, он зашёл в свою мастерскую, стены которой были выкрашены в тот же цвет, надел серый фартук, и, взяв в руки кисть, стал размешивать на палитре серые краски различных оттенков.

Приказ №174 его не касался.

Глава вторая. Ахромат

Заказчица очередного портрета, фрау Тереза фон Глокеншпиль, оказалась на редкость милой и привлекательной женщиной. Когда вчера она пришла на первый сеанс, Яков подумал было, что она ошиблась домом. Он знал, что фрау Тереза была дважды вдовой и вот уже с Рождества нашла своё очередное счастье в третьем браке с городским судьёй Августом фон Глокеншпилем. Учитывая, что судье недавно отмечали шестьдесят пять, Яков был готов увидеть как минимум пятидесятилетнюю увядающую салонную жеманницу, обсыпанную пудрой и покрытую кремами и румянами. Он искренне удивился, встретив вчера на своём пороге красивую блондинку не более тридцати пяти лет с открытым весёлым лицом и чуть прищуренными, как казалось, вечно смеющимися серыми глазами.

Написание портрета обычно занимало у Якова около восьми часов. Нечасто находились заказчицы, готовые неподвижно целый день с утра до вечера просидеть на одном месте. Им непременно нужно было ещё прогуляться по бульвару, купить маникюрные ножнички, заглянуть к соседке, выпить кофе на площади, обсудить новинки в галантерейном магазине Кауфмана и сделать другие обязательные женские дела. Поэтому работа Якова, как правило, делилась на несколько сеансов: чаще на два или три. Если на первом сеансе модели ещё вели себя смирно, старались не шевелиться и больше молчали, то на втором, уже освоившись, они все без исключения пускались в болтовню, которая часто была на руку художнику. Яков Грау нигде не давал о себе рекламу, заказчицы просто передавали его друг дружке, а для этого разговоры за кистью были полезны и даже необходимы.

За свои портреты художник брал по пятьсот крон, что составляло недельное жалование обычного горожанина, поэтому его услуги мог позволить себе не каждый. Круг заказчиц живописца Грау был нешироким, но блестящим. Вот и фрау Терезу он заполучил по рекомендации своей предыдущей модели — дочери министра юстиции. Сегодня, учитывая, что портрет планировалось закончить, он думал разговорить жену судьи. Тем более что прикладывать к этому усилий ему не пришлось. Как и накануне она пришла в шикарном пышном платье охряного цвета, тонкой накидке и изящных перчатках. Расположившись на диванчике для моделей и придав своему телу необходимую позу, а лицу — необходимое выражение, она сама завела разговор.

— Я ещё вчера хотела у вас спросить, господин Грау, — одними губами, чтобы не нарушить композицию начала фрау Тереза. — А почему вы на таком особом положении? Я прекрасно помню, что лет пять назад этот дом перекрасили в серый цвет, и с тех пор, как бы ни менялся Цвет Года, здание остаётся серым. И ваша одежда, и эти обои, и этот диван — вы ведь и на этот раз не будете менять всё это на бирюзовый?

— Не буду, — улыбнулся Яков.

— А почему? Чем вы заслужили такую привилегию?

— Ну, привилегия это довольно сомнительная. Я не различаю цвета.

— То есть как? — От неожиданности фрау Тереза даже сменила позу, и ей пришлось поёрзать на диване, чтобы вновь занять правильное положение.

— А вот так, я просто не вижу большинство цветов.

— Вы дальтоник? — осторожно спросила фрау Тереза, боясь обидеть художника.

— Правильнее будет сказать «ахромат». Дальтоники обычно не видят один-два цвета или путают цвета между собой. Ахромат же видит мир чёрно-белым. Всё для меня — и ваше охряное платье, и ваша прелестная розовая кожа, и шикарные светло-русые волосы — это всё для меня лишь оттенки серого.

— Но ведь серый — это же не цвет. Его нет на цветовом круге Исаака Ньютона. Это просто смешивание чёрного и белого.

— Да, — подтвердил Яков. — Серый — это нечто среднее между чёрным, то есть полным отсутствием света, и белым, что, по сути, есть смесь всех цветов. Именно поэтому ахроматам и вообще всем дальтоникам в нашей стране разрешено постоянно носить одежду серого цвета и в такой же тон раскрасить свои дома. Если эти люди не видят разницы в цветах или видят её иначе, чем остальные, они не могут умышленно нарушать приказы Министерства о Цвете Года, и штрафовать их не за что. Поэтому каждому из нас на основании медицинского заключения выдаётся охранный грамота, и надзиратели за палитрой таких людей не трогают.

— И у вас есть такая грамота? — с любопытством спросила жена судьи.

— Разумеется. Она приравнивает меня к китам, которые тоже в бирюзовом не разбираются, — ответил Яков. — Но почти всех нас надзиратели знают по именам. Нас в городе не так много. Как и китов.

— И всё равно я иногда вижу на улицах серые дома и людей в серой одежде, — задумчиво сказала фрау Тереза, и её глаза перестали улыбаться. — Правда, почему-то только мужчин.

— Если говорить про мужчин, дальтоником является каждый двенадцатый из них, у женщин — одна из двух сотен. Серых домов в городе меньше, чем людей в сером, только потому, что дом получает привилегию, если дальтоником является его хозяин, а не просто один из жильцов. Сам же дом вообще ни в чём не виноват.

— А откуда же тогда вы знаете, что платье на мне сегодня охряное, кожа розовая, а волосы светло-русые, если вы этого не видите? — с любопытством спросила фрау Тереза. Она уже взяла себя в руки и снова говорила одними губами, не меняя позы.

— Я художник, сударыня. Труд живописца связан с умением различать полутона. Скажу вам больше, — Яков заговорщицки понизил голос, — я даже знаю, почему вы пришли именно в охре, а не в бирюзовом. Ведь ваш супруг наверняка уже купил вам гардероб нового Цвета Года, разве нет?

— Да, конечно, — удивлённо ответила Тереза. — Муж ещё вчера заказал и привёз мне наряды на летний сезон. Так почему же, по-вашему, я пришла сегодня в охре? — ответно улыбнулась она художнику, поддерживая его игру в заговор.

— Художник должен быть внимательным. Однажды я заметил для себя одну деталь: женщины тоньше чувствуют цвета. Там, где мужчина видит всего один цвет, дамы различают множество оттенков. Вот, например, ваша накидка и перчатки чуть светлее, чем платье, перевязь — ещё светлее, ленточки же на плечах, наоборот, чуть темнее. И чем ближе объявление нового Цвета Года, тем больше оттенков цвета года старого я замечаю в одежде состоятельных женщин нашего города. Женщина остаётся женщиной, и ей хочется быть уникальной. Даже в рамках одного цвета. И пусть это отличие не заметят мужчины, мы же с вами знаем, что она носит свои наряды не для них, а для других женщин. Чтобы показать свой уровень достатка, статуса и вкуса наконец. Единственное, что я пока не могу понять, как вам это удаётся? Ведь заводы господина Фарбера производят краску только одного тона. И работают на них в основном мужчины, так что подмешать что-то, скажем, в какую-нибудь из смен им тоже не удастся — эти олухи просто не увидят разницы.

— А как же вы эту разницу увидели? Вы ведь тоже мужчина, значит, из «этих олухов»! — К фрау Терезе окончательно вернулась её обычная весёлость, и она улыбнулась ещё шире. Было видно, что ответ на вопрос её действительно интересует.

— Чем беднее выбор, тем больше чувствуешь нюансы, — ответил Яков. — Вообще, как бы грустно это ни звучало, в моём положении даже есть некоторый плюс. Обычные художники, глазу которых доступна вся палитра цветов, всё равно не могут ею пользоваться. Они рисуют такие же картины, как и я, с тем отличием, что я делаю это только в серых тонах, а они только в Цвете Года. Теперь им, например, придётся творить в бирюзовом, а на светлых тонах в принципе особо не разгуляешься. Как в бирюзе передать хмурую погоду или нарисовать ночной пейзаж? Вот то-то и оно. Парадокс! Чтобы быть свободным художником в нашей стране, нужно

или стать министром Эстетической Гармонии, или просто не различать цвета. И раз уж мне довелось видеть только серый, я отличу даже малейший его оттенок.

— Ну, раз уж мы так разоткровенничались и вы до сих пор не выдали никому нашего женского секрета, я тоже вам кое-то расскажу, — доверительно сказала фрау Глокеншпиль. — Эти оттенки, которые видите вы, но, слава богу, не видят наши мужчины и особенно зрители за палитрой, так вот, эти оттенки — контрабанда. Как вы знаете, одноцветность — это традиция только нашей страны, в других германских землях её нет. Вот господин Кауфман и привозит нам от соседей вещи цветов, похожих на Цвет Года. Так мои перчатки и накидка — бронзового цвета, перевязь — тыквенного, а ленточки на плечах — светло-медного. Для мужчин же всё это охра. И то, что к концу цветового года таких оттенков становится больше, тоже просто объяснить: за целый год завезено больше контрабандных товаров. Оттенков же бирюзового пока ещё нигде нет, поэтому я и пришла к вам в охре. О вас говорят, что вы очень тонко чувствуете разницу, и я рассчитываю, что мой портрет меня не расстроит, по крайней мере, плакать я не буду, — сказала она, хитро прищурившись.

Франц Кауфман, о котором говорила фрау Тереза, был известным в городе торговцем, которому принадлежали все крупные магазины Гланцштадта, по крайней мере те из них, что располагались на его центральных улицах. Он старался заработать каждый грош, попадавший в его поле зрения. Торговля с соседями полутонами, приносящая радость пусть не всем женщинам, но по крайней мере их обеспеченной части, была отличной коммерческой идеей. Странным было только то, что никто из прекрасных дам до сих пор не проболтался об этой их «маленькой тайне», ведь бедные девушки тоже видели разницу оттенков на богатых фрау, но ни одна из них не возмутилась.

На какое-то время художник и его модель замолчали. Яков внимательно смотрел на жену городского судьи, посредством кисти и серой краски перенося её образ с дивана на холст. В мастерской было так тихо, что даже сквозь закрытое окно было слышно, как перекрикиваются маляры, которые на той стороне улицы перекрашивали стены дома Томаса Кляйнера. Художник не торопился прерывать молчание, уступив это право даме.

— Скажите, господин Грау, — не выдержала Тереза, — а этот ваш недуг, он у вас с самого рождения? Ведь этот дом покрасили в серый только пять лет назад, значит, до этого всё было по-другому?

— Нет, фрау Глокеншпиль, всё проще. Пять лет назад умерли от оспы мои родители. Этот дом стал принадлежать мне и попал под действие закона, освобождающего от ежегодной перекраски. Я же сам являюсь ахроматом действительно с рождения.

— Бедняжка, — сочувственно сказала судейская супруга. — Значит, вы никогда не видели голубого неба, зелёной травы и красных скал на закате солнца?

— Зато я видел столько оттенков серого, что вы не можете себе даже представить. Всё в этом мире относительно.

Яков замолчал, погружившись в воспоминания. Он сказал неправду своей заказчице. Не потому что хотел её обмануть — он просто не умел рассказывать свою историю без комка в горле. И не был уверен, что её вообще стоит рассказывать. Он не был ахроматом с рождения, но вспоминать, а тем более говорить об этом с посторонними людьми, не любил.

Это было двадцать три года назад. В тот год ему исполнилось пять лет. Так получилось, что день летнего солнцестояния совпадал с днём его рождения, и родители всегда радовались, что государственные праздники начинаются таким славным семейным событием. После года скучного тусклого болотно-коричневого Цветом Года тогда был объявлен алый. Ранним утром Яков с отцом, который тоже был художником, залезли на крышу их дома, чтобы посмотреть на поднятие нового флага над городской ратушей. Накануне прошёл дождь, и черепица в некоторых местах была ещё мокрой. В какой-то момент, когда на площади заиграл гимн Гланцланда

и алый флаг торжественно пополз вверх по флаштоку, нога отца соскользнула, и он не удержал сына на руках.

Маленький Яков запомнил не сам удар — а мгновение до него: алый флаг, который папа почему-то назвал «кровавым», капли на черепице и запах мокрого железа. И папин крик — не испуганный, а яростный. «Проклятый алый цвет!» — закричал папа, когда Яков уже лежал на земле и глядел на небо, которое вдруг стало чужим, плоским, как лист серой бумаги. С тех пор он не мог смотреть на алый без тошноты, даже не различая его, а видя лишь одним из оттенков серого.

Только раскидистая акация, смягчившая падение, спасла его от гибели. Но мальчик был ещё мал, и своё сотрясение мозга, грубо названное приехавшими врачами «сотрясением всего организма», он всё-таки получил. Две недели мать пролежала с сыном в больнице. Отец, бегая по докторам и аптекам, не успел докрасить стены своего дома и получил штраф от надзирателей за палитрой.

Маленький Яков ничего себе не сломал, не было даже серьёзных ушибов. Единственным последствием травмы было то, что мир для него теперь навсегда стал чёрно-белым. Отец Томаса Кляйнера, известный в городе глазной врач, тогда только поцокал языком, и, покачав головой, выписал справку, по которой ребёнку можно было теперь не следовать правилам Цвета Года и разрешалось носить серую одежду.

Отец Якова с тех пор возненавидел алый и в тот год не взял ни одного заказа. Он отказывался писать картины в ненавистных оттенках, и семье пришлось до конца цветового года жить на накопленные сбережения. День рождения Якова с тех пор в их семье тоже перестали отмечать, чтобы оградить себя от тяжёлых воспоминаний. Позже, когда подрос, Яков пытался понять, почему отец винил в его падении алый цвет, а не себя самого, и не находил ответа.

Так или иначе, мальчик рос в своём сером мире. Отец научил его рисовать, познакомил с художественными техниками и приёмами, которые знал сам, и очень скоро выяснилось, что у Грау-младшего отличное чувство света и перспективы, прекрасный художественный вкус и верная рука. Кроме того, ему было позволено писать серыми красками, а это при его умении работать с полутонами было большим плюсом, и очень скоро сын стал приносить домой первые гонорары.

Иногда ему казалось, что если бы он не упал с той крыши, то сейчас рисовал бы бирюзовых котов и радовался жизни. А иногда — что именно то падение сделало его тем, кто он есть. И это второе «иногда» пугало его сильнее, чем первое.

Сейчас он заканчивал портрет Терезы Глокеншпиль, жены городского судьи. Он знал, как заказчицы реагируют на его работы, и всё равно каждый раз с замиранием сердца ждал того момента, когда картина будет готова и первый зритель увидит результат его труда.

— Ну вот и всё, фрау Глокеншпиль, — сказал он, делая последние мазки. — Ещё один штрих, и вы поймёте, зачем сидели в этой серой комнате восемь часов в компании не самого интересного собеседника.

С этими словами он подал руку своей модели и подвёл её к холсту, на котором высыхала серая краска.

Когда фрау Тереза в шутку говорила: «Надеюсь, что плакать я не буду», Яков не стал её разубеждать. Он знал, что она будет плакать, потому что его заказчицы плакали всегда.

Лицо Терезы возникало из размытого фона не как краска на холсте, а как живое существо возникает из утреннего тумана. Положенный на холст свет падал незримо, как будто из-за плеча зрителя, выхватывая то скулу, то уголки губ, то сверкающую серёжку. Глаза были написаны десятками или даже сотнями микроскопических свинцовых и жемчужных мазков. В них совсем не было ни блеска, ни цвета — только глубина, почти бездонная влажная глубина, в которой проглядывала невысказанная печаль и робкая надежда на самое обычное женское счастье, желание любить и быть любимой. Над внешним обликом успешной светской дамы и

примерной супруги незримо возвышалась душа маленькой девочки, которая вдруг не по своей воле стала взрослой женщиной. Едва прорисованная сеточка будущих морщин говорила не о возрасте, а о днях, не все из которых были прожиты в радости. Её шея, тонкая и уязвимая, тонула в мягкой ткани, а воротник платья был выписан с такой графической точностью, что казалось, будто зритель слышит шелест ткани.

Портрет не был изображением женщины — он был её душой, её музыкой и тишиной, воплощённой в серебре и пепле. Это был не портрет, а настоящее разоблачение души, выполненное с такой мощью и одновременно с таким тактом, что от него невозможно было оторваться.

Фрау Тереза Глокеншпиль стояла в мастерской художника Якова Грау и плакала. Он смотрел на её слёзы и в который раз ловил себя на мысли: хорошо ли это — заставлять людей плакать? Пусть даже такими слезами. Но тут же, как всегда, отогнал этот вопрос. Он художник. Его дело — показывать правду. Что делать с ней дальше — не его забота. Тем более именно за это ему платят. Картина удалась. И эти слёзы были наградой и оценкой творчества художника. Не считая пятисот крон.

Глава третья. Стекланный кабинет

Ровно в восемь утра двадцать третьего июня министр Эстетической Гармонии Зигфрид фон Гельб открыл дверь своего роскошного рабочего кабинета. По заведённому правилу он приходил на службу ровно за час до начала рабочего времени, когда, как он сам говорил, «ещё не все глупости были сделаны». Уже позавчера, когда он увидел и объявил Цвет Года, специальная бригада мастеров за какие-то три четверти часа превратила его кабинет из охряного в бирюзовый. Бирюзовыми стали стеклянные стены, пол и потолок, рабочий стол и бархатные кресла, перья для письма и даже маленькие скрепки для бумаг. В чернила был подмешан лишь бирюзовый оттенок — чистый Цвет Года на белой бумаге был не очень-то виден, а распоряжения министра должны быть читаемы, иначе граждане не смогут узнать, почему они живут в счастье и гармонии.

Сам глава министерства был в новом шикарном атласном бирюзовом камзоле, бархатных панталонах и туфлях нового Цвета Года. Чтобы министерская перевязь как-то выделялась на общем фоне и обычные люди, не дай бог, не спутали его с кем-то из его заместителей, она была украшена настоящей бирюзой, в смысле природных полудрагоценных камней.

Зигфрид фон Гельб был мужчиной в самом расцвете своих сорока пяти лет. Частые приёмы, деловые встречи и светские рауты заставляли его постоянно выглядеть подтянутым, поэтому держался он всегда ровно, спины и других частей тела не гнул. Если же нужно было достать что-то из нижнего ящика стола или даже поднять с пола, он наклонялся весь так, что со стороны можно было представить, что он просто складывается пополам как перочинный ножик. Одни люди, увидев министра в первый раз, принимали его за бывшего военного, другие видели в нём священника — настолько их вводила в заблуждение правильная осанка и чёткая выправка чиновника. И те и другие ошибались: ни в армии, ни в церкви Зигфрид фон Гельб не служил и не проповедовал. Всю свою сознательную жизнь он был государственным служащим.

Позвонив в колокольчик и заказав себе кофе, министр приступил к делам. Он посмотрел на доклад Главного надзирателя за палитрой с приложенной к нему цветовой картой города. Большинство квадратиков-домов на этой карте ещё было раскрашено в охра, но то здесь, то там в разных районах города уже появлялись здания, отмеченные бирюзовым. Сейчас таких зданий было больше в центре: казённые учреждения, а также дома государственных чиновников и просто богатых людей меняли цвет в первую очередь. Но завтра этот бирюзовый паук протянет свои цепкие лапы дальше, опухоль будет расплзаться, и с каждым днём карта будет менять свой цвет, чтобы к первому дню июля стать полностью бирюзовой. Отдельные серые пятна на карте раздражали министра: это были соборы, кирхи и дома дальтоники. Эти небольшие инородные вкрапления смотрелись на стройной карте города как кляксы на красивой картине, как маленькие очаги болезни, которую следовало искоренить, пока она не начала губить весь организм. Но, как ни старался фон Гельб, а до этого его отец и дед, избавиться он них пока было невозможно. Церковь трогать было нельзя, потому что она святая, а от святых всегда можно ожидать какой-нибудь пакости, это скажет вам любой инквизитор. Объявлять же гонения на ущербных больных тоже представлялось рискованным — бюргеры, привыкшие за многие годы к этой традиции, могли такого не понять, а народный бунт в планы министра не входил. Иногда серые пятна на карте пропадали сами собой, это значило, что кого-то из цветковых слепцов отвезли на кладбище, но скоро серое здание появлялось в другом районе, когда у кого-то нового выявляли глазную болезнь, так что в целом баланс сохранялся.

Министр ещё раз окинул взглядом весь нарисованный город. Вдруг на одном из серых пятен карта пошла рябью. Фон Гельб посмотрел на адрес: улица Образования, дом 28. Он протёр глаза. Нет — показалось. Всего лишь на какую-то секунду ему почудилось, что серый квад-

ратик пульсирует как живой. Фон Гельб перевернул карту лицевой стороной вниз, отодвинул доклад. С бумагой всё понятно. С людьми — сложнее.

Дел на сегодня было ещё много. Этот период в две-три недели был самым горячим в работе его министерства. Это потом можно будет просто поддерживать цветовой порядок и следить, чтобы в страну не проникала контрабанда, никто не развивал разноцветных идей и какие-нибудь клоуны не шили себе костюмы из картофельных очистков, чтобы чем-то отличаться от соседей. Через пару недель город заживёт привычной жизнью: строители будут строить дома и прокладывать дороги, крестьяне — возделывать землю, купцы — торговать, грабители — грабить, а воры — воровать. Сейчас же было его время — время замены Цвета Года.

Министр коротко посмотрел заявку барона Отто фон Фарбера. Промышленник сообщал об объёмах производства бирюзовой краски, а также запрашивал разрешения на открытие пунктов скупки товаров прошлогоднего цвета. Ещё не старую, но уже запрещённую одежду, посуду и мебель, ту, что хозяева решили не перекрашивать, люди Фарбера скупали за полцены и за три четверти цены продавали в соседние земли, делая прибыль как самому Фарберу, так и государству. У соседей в приграничных городах и сёлах даже открывались для этого специальные летние ярмарки. В сам же Гланцланд иностранцев почти не пускали.

Своих граждан за границу власти тоже выпускать не торопились. Кто-то мудро решил, что людям не обязательно знать о том, что жизнь может быть разноцветной. Поэтому, чтобы потом не подавлять цветные волнения и бунты, выезд за рубеж был ограничен, а туризм вообще запрещён. Формально это объясняли борьбой с эпидемиями — действительно, из соседних земель иногда приходила то оспа, то холера, то ещё какая-нибудь ветрянка или свинка. Чтобы выехать за границу, горожанину нужно было собрать и представить в министерство кучу справок, включая выписку из Реестра душевнобольных, так что желающих посетить соседние страны практически не было. Иностранные дипломаты ездили по городу только в закрытых каретах. Журналистам и торговцам, приезжающим из соседних стран, при въезде на пограничных пунктах выдавали длинные плащи Цвета Года, которые, в зависимости от фасона, следовало плотно запахивать или застёгивать на все пуговицы.

Зигфрид фон Гельб откинулся на кресле. Он вспомнил свою единственную поездку за границу. Без малого тридцать лет назад его отец, тогдашний министр Эстетической Гармонии решил, что сыну пора знакомиться с миром. По случаю его шестнадцатилетия отец перед Троицей взял Зигфрида с собой в Мюнхен, куда сам отправился на деловые переговоры.

Эту поездку молодой человек запомнил навсегда. В Гланцланде в тот год основным цветом был лаймовый, и юноша уже успел к нему привыкнуть. Какой же шок он испытал, увидев баварские летние базары! Бело-голубые флаги, женщины в разноцветных фартуках и чёрных корсажах с вышивкой, мужчины в коричневых шортах и шляпах с перьями всех цветов радуги, ленточки, вплетённые в лошадиные гривы — общая картина произвела колоссальный эффект на нераскрашенную душу подростка, она как будто вылила на него ведро смешанных красок и оставила сохнуть в недоумении.

Тогда он не стал задавать вопросов отцу. Иоганн фон Гельб был серьёзным политиком и держал дистанцию со всеми, не делая исключений даже для членов своей семьи. Но семя, брошенное в благодатную почву, должно было дать свои всходы, и оно их дало. Вернувшись в Гланцштадт, Зигфрид стал всюду искать цветового разнообразия. Он часами торчал на городском рынке, разглядывая красные яблоки, жёлтые лимоны и зелёный горох — природные продукты никто не раскрашивал. Он гладил по гривам гнедых и пегих лошадей, пытаясь понять, почему природа не следует за Цветом Года.

Здесь же на рынке он встретил Амалию. Она была дочерью маляра и его ровесницей. Заметив в юноше интерес к оттенкам фруктов и овощей, девушка тогда первая подошла к нему и завязала простой разговор, сказав что-то вроде: «А чего это вы так на кабачки глазеете? Тыквоцветными интересуетесь?» Зигфрид не сказал ей, кто он, первый раз в жизни постыдившись

своего отца. Через неделю прогулок под руку Амалия познакомила его со своими друзьями — начинающими художниками, которые в своих совсем простых рисунках пользовались не одной, а несколькими красками, даже синим и жёлтым карандашами. Где они их доставали, Зигфрид так и не узнал, скорее всего, покупали у контрабандистов. Кроме того, Амалия показала ему несколько горшков с цветами, выращивание которых в Гланцланде запретил ещё прадед Зигфрида, объявив их угрозой патриотизму. Эта пара недель общения с новыми друзьями вместе с поездкой в Баварию были самым лучшим временем его семнадцатого года жизни.

Но чудес на свете не бывает, и очень скоро молодой фон Гельб в этом убедился. Дети крупных чиновников не могли оставаться незаметными, как нельзя не замечать селезней в утиной стае. Однажды начальник городской полиции аккуратно намекнул министру Эстетической Гармонии, чем занимается его наследник в свободное время, то есть всегда. Иоганн фон Гельб был человеком мудрым и политикой занимался давно. Вместо того, чтобы сразу махать саблей и рубить с плеча, он вывел сына на разговор, который произошёл в семейной галерее их богатого дома и который Зигфрид фон Гельб запомнил навсегда.

— Сын, тебе уже скоро семнадцать, и я хочу научить тебя ценить время. — Иоганн фон Гельб славился своим умением заходить издалека, и о настоящей цели почти любой его речи нельзя было догадаться в её начале. — Запомни своё настроение и мысли на текущий момент. Уверяю тебя, они кардинально изменятся через десять минут, если ты действительно умный человек, каким я тебя воспитывал и каким тебя считаю.

Зигфрид покорно склонил голову и приготовился слушать.

— Ты знаешь, что это за люди? — спросил его отец, показав на галерею портретов, развешанных на стене лаймового цвета.

— Это наши предки, отец, — спокойно ответил Зигфрид.

— Да, это твой дед, прадед, прапрадед и так далее. Славный род фон Гельбов, вот уже четвёртое поколение которого занимает пост министра Эстетической Гармонии нашей страны. Как ты думаешь, они были дураками?

— Нет, отец.

— Может быть, они были грубыми, неотёсанными мужиками, у которых отсутствовали образование, воспитание и вкус?

— Не думаю, отец.

— Как ты полагаешь, они знали другие цвета, помимо набора Цветов Года тех лет, в которые им довелось жить? — министр говорил спокойно, как будто читал сказку маленькому ребёнку.

— Я не знаю, отец.

— А я знаю. Фон Гельбы всегда были образованными и культурными людьми. Их положение позволяло им ездить по Европе, посещать её лучшие музеи и знакомиться с полотнами великих мастеров. Твоему прапрадеду посчастливилось даже лично встречаться со Святым Исааком Ньютоном незадолго до падения яблока тому на голову. Но девиз нашего рода: «Понимай и служи!», что означает не только личное развитие, но прежде всего служение своей стране. И при выборе Красота или Родина, мы всегда выбирали Родину.

— А этот выбор обязателен? — осторожно спросил Зигфрид. — Разве эти понятия несовместимы?

— К сожалению, так устроен этот мир, сын. — Отец подошёл к Зигфриду ближе и потрепал его по волосам. — Разнообразие нестройно. Оно допускает сомнение, а сомнение — первый шаг к анархии, то есть к безвластию. Если доктор сказал, что следует лечиться ртутью и мышьяком, нормальный человек не будет сомневаться и прикладывать к ушибу подорожник — это до добра не доведёт. Анархия — это бунт и кровь. Мы не даём людям разнообразия ради них самих.

— Но почему в Тюрингии, Саксонии или Пруссии таких бунтов не происходит? Ведь там нет запрета на другие цвета.

— Ещё как происходит! Тем более Пруссия — большое государство по сравнению с нашим. Там огромная армия, и любое волнение топится в крови. Ты ведь не хочешь, чтобы наш народ топили в крови?

— Нет, отец.

Зигфрид вдруг понял, что его отец прав. Прав, как это бывало всегда. Дело не в деспотии единого цвета, а в беспорядке и анархии многоцветия. Он попытался сделать последнюю попытку.

— А почему тогда не дать людям самим выбрать Цвет Года? Пусть будет однообразие, которое выберет большинство горожан. Люди имеют на это право.

— Люди прекрасны, сын. Безобразна толпа. Толпа не хочет выбирать, ей проще, когда кто-то делает это за неё. Там, где есть большинство, всегда найдётся меньшинство, и оно не будет довольным. Сторонники розового начнут бить любителей оранжевого и наоборот, а это путь к гражданской войне. Ты ведь не хочешь войны?

— Нет, отец.

— Умный человек не может хотеть войны. Война — это не только гибель людей, что, конечно, очень важно. Война — это расходы, подрыв экономики и в итоге — подрыв государства. Это путь к ослаблению страны, а слабая страна — отличная добыча для сильного соседа. Не успеешь оглянуться, как та же самая Пруссия введёт к нам свои войска и каждый второй горожанин вместо того, чтобы выращивать овощи или выпекать крендели, наденет военную форму, заметь, одинакового цвета и того, какой прикажут, и встанет под знамёна прусского короля, который станет нашим новым монархом. Поэтому пусть лучше сторонники розового живут в вынужденном мире с любителями оранжевого и все носят бирюзовый цвет. Выбор, который мы сделали за них, лишает их ответственности за этот самый выбор, а отсутствие ответственности — это часть той свободы, о которой ты печёшься. Так что для любого нормального человека есть только один выбор: между Гармонией, которую даёт Цвет Года, или Безвкусицей, которую предлагают другие цвета. Настоящий гражданин и патриот — тот, кто действительно любит свою Родину и окружающих его людей, — выберет Гармонию. Десять минут прошло, — сказал старший фон Гельб, посмотрев на часы. — Надеюсь, ты всё понял.

Зигфрид всё понял и ничего не ответил. Он был вынужден признать правоту отца, разбитый его железной логикой. Хуже того — он внутренне с ней согласился. Поэтому он не стал ничего предпринимать, когда Амалию и её родителей выслали из города, клуб начинающих художников разогнали, а родителей его участников оштрафовали надзиратели за палитрой. Зигфрид никого не предупредил и не возмущался, потому что это решение соответствовало интересам государства и его граждан. А в следующем году он сам стал одним из надзирателей за палитрой, — пришла пора знакомиться со службой, с которой его на всю жизнь связала галерея семейных портретов и девиз фон Гельбов «Понимай и служи!».

Иногда по ночам он всё ещё видел во сне, как подходит к Амалии, берёт её за руку и говорит: «Беги!». Но потом она исчезала, и он снова оставался один в пустой комнате со стенами цвета лайма. Он просыпался с мокрым лицом и не мог понять, плакал ли он или это просто испарина от слишком тёплого одеяла. Но такие сны приходили к нему всё реже, или он просто перестал их помнить. Его сновидения стали более патриотическими и менее цветными, всё чаще в них присутствовал только Цвет Года.

А ещё через год он перешёл на работу уже в аппарат Министерства и женился на скучной дочери бургомистра. Когда же старый фон Гельб с почестями отошёл в мир иной, никто не удивился, что новым министром Эстетической Гармонии был единогласно избран его сын, — традиции играли важную роль в жизни страны, а Зигфрид к тому времени стал отличным чиновником и политиком.

Только одно удивляло в новом министре коллег и подчинённых — с момента вступления в должность фон Гельб больше ни разу не выехал за границу Гланцланда, хотя возможности такие теперь имел. На официальные визиты министр отправлял своих заместителей, отдыхать же предпочитал на родине.

Фон Гельб отвлёкся от воспоминаний и посмотрел на маленький портрет дочери в бирюзовой рамке, стоявший на его рабочем столе. Единственной слабостью всемогущего министра Эстетической Гармонии оставалась его дочь Кристина, которой в этом году исполнялось девятнадцать лет. Его постоянная занятость на службе, а также то, что её мать охотнее и чаще посещала церковь, чем детскую половину дома, с самого раннего детства предоставили ребёнка самому себе. И сообразительная Кристина отлично этим пользовалась. Она росла умной девочкой, охотно читала книги из отцовской библиотеки и раньше своих сверстниц стала интересоваться устройством жизни. К своим девятнадцати она расцвела и превратилась в шикарный диковатый цветок. Милая фройляйн с красивыми чёрными непослушными волосами, такими же чёрными глазами и таким же непослушным характером. И волосы, и характер она пыталась как-то подстроить под окружающий мир: первые — с помощью расчёски, второй — пользуясь маленькими женскими хитростями. Она всегда безошибочно угадывала, когда и как нужно подойти к отцу, чтобы всемогущий министр стал просто папой. Фон Гельб догадывался, что дочка иногда лукавит, но очень её любил и никогда ни в чём ей не отказывал.

Вот и сейчас, когда Кристина фон Гельб впорхнула в его кабинет, он не стал ругать её за то, что она отвлекает его от государственных дел, а встал с кресла, улыбнулся и нежно поцеловал её в мягкую щёку.

— Ну ты вчера и выдал! — не поздоровавшись, весело почти выкрикнула она. — Я прочитала в газете твою вчерашнюю программную речь — это был почти шедевр! «Братья и сёстры по Гармонии!» — она попыталась симитировать голос министра, чем вызвала у него ещё одну улыбку. — «Бирюза — это застывшая музыка небес! Это свежее дыхание весны, которое сметёт с наших улиц охряную тень прошлого! Мы построим мир, который будет сиять, как гигантский бирюзовый самоцвет в короне Европы!» Ну разве не красота? Папа, дай мне пятьсот крон.

Окончание фразы прозвучало так естественно, что Зигфрид фон Гельб без разговоров взял со стола бумажник и отсчитал пять крупных купюр и передал дочери. Впрочем, он сделал бы этого даже без её красивого предисловия — он никогда ей не отказывал.

— Зачем тебе такие деньги? — спросил он, скорее для порядка.

— Я хочу заказать себе портрет, — ответила Кристина, гордо вздёрнув к потолку свой маленький носик.

— А с каких пор тебя перестал устраивать наш штатный художник министерства? У тебя уже есть восемнадцать портретов в разных цветах. Это часть обязательной программы — портрет дочери министра в платье Цвета Года.

— Я хочу портрет в серых тонах.

— Ты хочешь, чтобы тебя нарисовал дальтоник? Не знал, что среди них есть художники. Извини, но мой ответ «нет». Дочь министра Эстетической Гармонии не может иметь никаких дел с серыми людьми. Это политика, прости, дорогая.

— Но ведь серый цвет не запрещён! — Кристина капризно сморщила лоб.

— Серый — это не цвет, — сказал фон Гельб чуть тише, чем обычно. — Это отсутствие цвета. Запомни, Кристина: человек, который выбирает серый цвет, выбирает пустоту.

Он снова вспомнил разговор с отцом в галерее много лет назад. Тогда он сам выбрал порядок вместо пустоты. Но так ли велика разница, как ему хотелось бы верить? Звонкий голос дочери вырвал его из воспоминаний.

— Если бы ты видел, папа, как он нарисовал Фрау Глокеншпиль, ты дал бы мне ещё пятьсот крон на такой портрет.

— Эта юридическая фрау, которая последовательно свела в гроб адвоката и прокурора, а теперь занялась судьёй, может позволить себе такую роскошь. Я же руковожу министерством, призванным блюсти Гармонию Цвета Года. Пусть серый не запрещён, но поощрять его я не могу категорически, что бы ни нарисовал твой Леонардо да Винчи.

— Ну, папа!.. — Кристина обиженно надула губки.

— Нет, родная, прости. И если мне донесут, что тебя видели в сером доме (а кто-то обязательно это сделает), ты меня не просто расстроишь, а поставишь под удар мою карьеру. Обещай мне прямо сейчас, что тебя там не увидят!

— Обещаю, папа. — Кристина поцеловала отца в гладко выбритую щёку и выпорхнула из кабинета, зажимая в руке полученные деньги.

Фон Гельб посмотрел вслед уходящей дочери и залюбовался её чёрными непослушными волосами. «У Амалии были такие же», — подумал он вдруг и осёкся. Он не думал об этом годами. А если начинал, то запрещал себе додумывать.

Министр тряхнул головой, одёрнул бирюзовый камзол и потянулся к следующей бумаге. Дела никогда его не предавали.

Кристина же, будучи уже в коридоре и убедившись, что рядом никого нет, сказала себе полушёпотом: «Ну, раз я обещала, в сером доме меня не увидят. Но я не обещала, что не приведу художника к нам домой. Наш дом не серый — он самый бирюзовый в городе».

Глава четвёртая. Тайная каморка

Швейцара в доме министра Эстетической Гармонии звали Гюнтер. Раньше он служил дворецким, но лет пять назад годы взяли своё, сложные задачи по управлению большим домом стали ему не под силу и его перевели в садовники. А в прошлом году начало пошаливать здоровье, и пожилого слугу определили на совсем простую работу: открывать двери перед гостями и закрывать их за ними.

Около одиннадцати утра старый Гюнтер открыл эти самые двери перед двумя визитёрами. Одной из них была фрау Глокеншпиль, говорливая подруга дочери хозяина, которая бывала здесь нередко. Спутником её, судя по всему, был какой-то иностранец. По крайней мере, он был одет в глухой бирюзовый плащ из тех, что выдают на границе всем въезжающим иностранцам. Разглядеть лицо гостя под широким капюшоном было сложно, но Гюнтер и не старался: его задачей было открыть дверь, и он с ней отлично справился.

Тереза Глокеншпиль и Яков Грау, а это был именно он, поднялись по лестнице на второй этаж, где прошли по длинному коридору к комнате молодой госпожи.

Хозяйка, не скрывая волнения ожидавшая гостей, спрыгнула со стула, на котором сидела, и, впустив их, быстро закрыла дверь на два оборота ключа. Только после этого художник снял свой плащ и предстал перед Кристиной в своей обычной серой куртке из плотной грубой ткани.

— Так вы и есть тот самый местный Леонардо да Винчи, как назвал вас папа? — спросила Кристина, после того как Тереза Глокеншпиль представила их друг другу.

— Простите, фройляйн, — виновато ответил Яков, — я не знаком с работами этого мастера. Великие художники в большинстве творили в цвете, поэтому их шедевры даже мирового масштаба не включены в наши образовательные программы, в отличие от скульпторов, которые представлены там широко. Так что можете считать меня самоучкой, — сказал он, улыбнувшись.

Фрау Глокеншпиль, выполнив свою миссию, пожелала всем удачи и, хитро подмигнув хозяйке, спустилась по чёрной лестнице: так можно было выйти, не отвлекая заслуженного швейцара.

— А я думала, вы принесёте с собой большой холст, палитру и кучу банок с серой краской, — разочаровано сказала Кристина, видя, как художник достал из сумки только тубус со свёрнутыми бумажными листами и небольшую коробку.

— Видите ли, фройляйн, — по-деловому ответил Яков, — если бы я писал вас в своей студии, всё было бы именно так, как вы сказали. Но, поскольку мы с вами сегодня заговорщики против Гармонии, я сделаю ваш портрет в графике, то есть простым карандашом. Это займёт в два раза меньше времени, так что второй сеанс нам не потребуется. Если же вы сочтёте, что работа получилась хуже, я готов сделать вам ту скидку, которую вы сами укажете. Но я думаю, этого не случится, — закончил он, обаятельно улыбнувшись, как умел это делать, когда речь заходила о деньгах.

Кристина спорить не стала. Ей сразу понравился этот робкий, но в то же время уверенный в себе молодой человек, его светлые глаза, его вежливость, его открытый взгляд и обаятельная улыбка. Главное — ей понравилось в нём то, что он не заискивал перед ней и не лебезил, как это делали почти все вокруг, только узнав её фамилию.

Яков Грау закрепил на небольшом дорожном мольберте плотный лист шероховатой бумаги. Кристина выбрала удобную для себя и художника позу в неглубоком кресле, и таинство творения началось.

Мастер то отходил от мольберта на несколько шагов, внимательно рассматривая свою модель, то быстро возвращался и сосредоточенно делал десяток штрихов, чтобы снова сделать шаг теперь уже вправо или влево.

Уже через четверть часа бойкая девушка не выдержала и начала разговор:

— Скажите, я могу вас называть Яков или вам удобнее «господин Грау»?

— Можно Яков, тем более что именно так меня и зовут, — снова широко улыбнулся художник.

— Тогда зовите меня Кристина. «Фройляйн» — слишком обезличенно. Всё равно, что домашнюю собаку называть собакой, а ведь у них у всех есть имена. Так скажите, Яков, вы что, действительно не видите цвета?

— Я не вижу ваши цвета, фройляйн Кристина. Зато я вижу столько оттенков серого, сколько вы не видели цветов настоящих.

— Я бы так не смогла, — уверенно ответила девушка. — Мне даже жалко вас.

— Не стоит. Вы теперь будете вынуждены год мучиться в бирюзе, для меня же серый мир три дня назад просто стал чуть светлее. — Он отошёл на три шага назад и снова вернулся к мольберту, чтобы сделать ещё несколько штрихов.

— Вы, должно быть, очень одиноки, — сказала Кристина, даже не обращая свои слова в вопрос. — Особенности люди всегда одиноки.

— У меня есть друг, — ответил Яков. — Один, но мне вполне достаточно. Это же не деньги, здесь не берут количеством.

— Тогда вам повезло, — сказала девушка с ноткой зависти. — У меня друзей нет совсем.

— Этого не может быть, у вас такой большой круг общения. Фрау Глокеншпиль разве не подруга вам?

— Там, где начинается власть и деньги, друзей быть не может. К тому же фрау Глокеншпиль старше меня почти на пятнадцать лет. Да и фамилия моя чести мне не делает, как бы нелепо это ни звучало. Когда мне было лет семь-восемь, я очень хотела подружиться с детьми из простых семей. Даже притворялась дочерью служанки, чтобы эти дети меня не боялись. Когда же правда раскрылась (кто-то из взрослых назвал меня «госпожа фон Гельб» и поклонился), все дети разбежались, а один мальчик даже споткнулся и разбил себе нос. Тогда я поняла, что фамилия может быть важнее человека.

Если фрау Глокеншпиль удавалось говорить одними губами, Кристина, увлекаясь, начинала жестикулировать, и потом ей снова приходилось принимать нужную позу.

— Но, как я полагаю, ваш отец очень любит вас, — предположил Яков, когда она в очередной раз села ровно.

— Понимай и служи! — ответила она, понизив голос, по всей видимости, кого-то копируя. — Это девиз нашего рода. Только почему-то вторая часть всегда оказывается важнее первой. Служить мой отец научился отлично, а с пониманием явно запаздывает.

Яков чуть раздвинул бирюзовую штору, регулируя свет, и девушка продолжила:

— Однажды отец нашёл у меня сиреневый лоскуток. Он не ругал меня, а просто сжёг его в камине. Тогда впервые я увидела в его глазах не гнев, а страх. Настоящий страх. Я была намного младше, чем теперь, но всё равно поняла: он испугался не за меня. За себя он испугался, за своё положение и галерею фамильных портретов, которую так боится опозорить. Разве можно опозорить галерею? Это же просто картины, и не Леонардо да Винчи. Ой, извините, если я вас обидела. Отец тогда провёл дознание и, не выяснив, кто передал мне лоскуток, уволил разом всех слуг. Кроме Гюнтера. Его одного тогда оставили и просто перевели в садовники. Кстати, именно Гюнтер и достал мне этот лоскуток. Но сам он не сознался, а я обещала ему молчать. Когда уволенные слуги собирали вещи, я чуть не заплакала, хотя ни до этого, ни после я не плакала никогда. И все равно Гюнтера я не выдала. С тех пор мы перестали дружить.

Яков слушал и вдруг подумал о своём отце. Тот тоже когда-то испугался. Сам не смог удержать его, а обвинил алый цвет, который всего лишь волна определённой длины, если верить Святому Исааку Ньютону.

Беседа с разным темпом и интонацией продолжалась. Кристине было удивительно легко с ним: то ли потому, что он был не сильно старше её самой, то ли оттого, что он так мило улыбался именно там, где это было нужно, и переспрашивал, где было непонятно, не боясь показаться глупым или бестактным. Но главное — он её слушал. Слушал не потому, что она дочь министра, и не потому, что она платила ему за портрет, а потому что ему было действительно интересно. Около трёх часов пополудни Яков осмотрел своё творение, сделал ещё два штриха карандашом и сказал:

— Ну вот, фройляйн Кристина, можете принимать работу. Строго не судите: это просто картина и не Леонардо да Винчи.

С этими словами он подвёл Кристину к рисунку, который вот-вот должен был стать её собственностью. Сам же встал напротив: он хотел посмотреть на первое впечатление, — это было моментом маленького триумфа его авторского тщеславия.

До этого весёлая и разговорчивая Кристина стояла, молча затаив дыхание.

Это был не портрет, а сложный шифр, разгаданный художником. Если изображение фрау Глокеншпиль, которое она видела прежде, было симфонией светотени, то этот рисунок больше походил на точный удар стилета, воплощённого в простом карандаше. Это была энергия, заключённая в линиях. Якову удалось уловить не мгновение покоя, а само движение. Чёрные волосы, девушки, словно размётанные ветром, были прорисованы стремительными, обгоняющими друг друга штрихами. Во влажном блеске глаз, тщательно выведенных мягким карандашом, горел огонь — не грусть, не женское любопытство, а цепкий ум — тот самый, что она унаследовала по отцовской линии. Общий образ модели карандаш художника не смягчал, но обнажал. Он высек упрямую линию брови, готовой взлететь в насмешке. Он не скрыл ямочку на щеке, придававшую ей сходство с резвой девочкой, но и не сгладил твёрдый овал подбородка, выдававший нестигаемую волю. Лёгкая тень под глазами намекала на бессонные ночи, проведённые в раздумьях и сомнениях. Это было лицо-противоречие: юность и старость души, покорность и бунт, запертые в одном силуэте.

И когда Кристина увидела это — не приукрашенную куклу, облачённую в платье Цвета Года, какую регулярно рисовал штатный художник, а живую, противоречивую девушку, это случилось.

Ожидаемые художником, но неожиданные для модели слёзы хлынули из её глаз. Кристина плакала первый раз в жизни. Она боялась этого нового чувства и одновременно наслаждалась им. Она плакала не от умиления, а от того, что узнала себя — узнала такой, какой ей никогда не позволяли быть отец, воспитание, образование и прочие условности. Она плакала, как плачут все женщины.

Яков тактично подождал около минуты и осторожно спросил:

— Какую скидку попросите за портрет? Я работал в два раза меньше, чем если бы писал красками.

Она не слышала его вопроса. Только когда он повторил его, Кристина молча взяла со стола заранее приготовленные деньги и отдала их художнику, всё ещё заглядывая на картину.

— Вам говорили, что вы гений? — серьёзно спросила она Якова.

— Да, бывало, — ответил он, убирая деньги в сумку. — Но, к сожалению, на рынке и в магазинах это не работает, я пробовал.

— Я хочу показать вам одну вещь, — серьёзно сказала она, перейдя почти на шёпот и доверительно дотронувшись до рукава его серой куртки.

Она взяла его за руку, подвела к письменному столу и, открыв ключом его нижний ящик, извлекла из его глубины небольшой лоскуток тёмной ткани.

— Смотрите, мне удалось добыть это вчера. Мне сказали, что это фиолетово-баклажанный цвет. Фиолетовый был Цветом Года двадцать один год назад, я тогда ещё не родилась и такого никогда не видела.

Яков взял лоскуток в руки и внимательно на него посмотрел.

— Тёмно-серый номер двадцать один. Действительно красивый цвет. Вы что, никогда не были на рынке и не видели баклажаны? И блюд из них вам не готовили?

— На рынок у нас ходят слуги, — как будто извиняясь, сказала Кристина. — Мне отец запретил по каким-то политическим причинам. А почти во всю еду нам добавляют пищевые красители Цвета Года, которые специально поставляют с фабрики фон Фарбера. Так что, считайте, весь прошлый год я ела картошку и огурцы цвета охры, а теперь пью бирюзовое молоко и ем бирюзовое мясо. Вы когда-нибудь ели бирюзовое мясо?

— Я ел только серое, но, думаю, вкус его был таким же, — ответил Яков, улыбнувшись.

— Тёмно-серый номер двадцать один, говорите вы? — спросила Кристина, вертя между пальцами лоскуток. — Пойдёмте со мной.

Она снова взяла его за руку и провела вглубь комнаты, где находилась зона отдыха. Обойдя кровать с большим бирюзовым балдахином, она откуда-то достала маленький серебряный ключ и открыла почти незаметную дверь, которая была ниже человеческого роста.

— Раньше здесь была крохотная гардеробная, — пояснила Кристина, — но потом, когда фон Фарбер организовал скупку платьев прошлогодних цветов, надобность в ней отпала, и все про неё просто забыли. Все, кроме меня.

Она пригнула голову и прошла внутрь, увлекая за собой Якова, которого по-прежнему держала за руку.

Комната, если можно так назвать шкатулку, когда смотришь на неё изнутри, была не больше трёх шагов в длину и двух в ширину, так что два человека еле-еле в ней помещались.

Маленькое окошко под потолком давало совсем немного света, но его хватало, чтобы можно было оценить содержимое каморки. На её правой стене от пола до самого потолка висели лоскутки. Их было больше двух сотен. Одни были приколоты булавками, другие приклеены, какие-то пришиты к бархатным подложкам. Серебряный шёлк, ядовито-жёлтый сатин, глубокий изумрудный вельвет, нежный, как первый вздох, голубой батист. Здесь висел кусочек пурпурного бархата, словно вырванный из мантии кардинала, и рядом — кричащий оранжевый, как маленький язычок пламени. Были и сложные, неуловимые оттенки: цвет увядающей розы, выбеленный солнцем лазурит, яблочно-зелёный тон, который бывает только у молодых листьев в мае.

При этом лоскутки висели не в хаотичном порядке. Это была тщательно выстроенная композиция, где малиновый перекликался с розовым, а лиловый мягко спорил с сиреневым. Свет от маленького окна, падая на эту радужную мозаику, рождал блики и тени, делая цвета объёмными, живыми, дышащими. Воздух был густ и сладок, — здесь пахло нафталином, старыми книгами, пылью и едва уловимыми духами, впитавшимися в ткани за долгие годы их тайного существования.

В этом тесном пространстве заключалась вселенная его хозяйки. Строго говоря, это была не стена, а взрывной коллаж, ковчег, уцелевший после потопа, навязанного единством Цвета Года. И это была даже не коллекция. Это был склад украденных вещей. Украденных у времени и у системы, — обрывки запретного мира, сведённые воедино в молчаливом ослепляющем протесте.

Кристина аккуратно прикрепила к стене новый фиолетово-баклажанный лоскут. Он занял своё место между виноградным и сливовым. Она сделала шаг назад и полюбовалась на свою работу.

— Ну как вам, Яков Грау? — спросила Кристина, обернувшись и почти прижавшись к художнику, — места, действительно, было очень мало.

Яков стоял, поражённый не меньше, чем Кристина, когда он несколько минут назад показал ей портрет. Такого количества серых оттенков он не видел никогда. Конечно, он мог сме-

шать на палитре любые тона серого цвета, но, чтобы увидеть их вот так, одновременно и в одном месте, такого он явно не ожидал. Более того, некоторые цвета — например, серый вариант аквамарина — он вообще видел впервые.

— Я собираю эту коллекцию с девяти лет, — гордо сказала она. — Если папа узнает, он утопит меня в колодце прямо у нас во дворе.

Яков ничего не отвечал, он трогал руками лоскутки, по-новому открывая для себя серый цвет, пробовал его глянец и шероховатость, менял угол ткани, чтобы посмотреть, как играет на ней свет.

Вдруг ему на секунду почудилось, что один из лоскутков пульсирует как живой. Он отдернул руку, как от горячего угля, но осадок остался. Что-то далёкое из детства пробежало мурашками по его спине. Лоскуток был алым.

Постояв ещё пару минут, молодые люди вернулись в комнату Кристины, которая аккуратно заперла дверь и спрятала ключ.

— Ну, — сказала она, явно ожидая реакции, — как вам моя пещера Али-Бабы?

— У меня нет слов, — честно ответил Яков. — Но не меньше вашего вкуса я поражён вашей храбростью. Вы показали свою коллекцию мне, хотя видите меня первый раз. И это при том, что отец непременно утопит вас в колодце, если о ней узнает.

— Но он же не узнает, — подмигнула ему девушка. — И потом, если вы меня выдадите, значит, я в вас ошиблась. А в случае такого разочарования не жалко и в колодец.

Яков ничего не ответил. Он сделал шаг вперёд, обнял девушку и осторожно прижал её к своей груди. Он боялся пошевелиться, словно держа в руках редкую бабочку, которая могла улететь даже от не очень сильного вздоха.

Кристина не отстранилась и не оттолкнула его. Грубая ткань его куртки была шершавой, она тёрлась о её щёку. От него пахло скипидаром, красками и чем-то неуловимо чужим, мужским. Девушка утонула в этом незнакомом чувстве спокойствия и защищённости.

«Что ты делаешь? — пронеслось в его голове. — Ты не имеешь права. Ты погубишь её. Что ты можешь ей дать?» Мысль не закончилась. Это был какой-то непонятный страх, который сжал сердце молодого человека. Он отстранился первым.

— Теперь, когда ты знаешь мою тайну, расскажи мне свою, — сказала Кристина, улыбаясь. — У тебя ведь есть тайна? У тебя должна быть тайна, иначе не интересно.

Яков выпустил её из объятий и выпрямился, визуально даже став чуть выше.

— Вчера я закончил писать главное полотно своей жизни. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, оно может изменить этот мир.

Глава пятая. Оратория Света

Колокол городских часов ударил так неожиданно, что испугал и Кристину, и самого Якова. Пробило четыре часа. Девушка пришла в себя первой.

— Это чей-то портрет? — спросила она. — Или пейзаж?

— Ни то и ни другое, — ответил Яков. — Я вообще не могу назвать жанр, в котором написана картина. Знаю только, что вещь получилась очень сильной. Это работа всей моей жизни, и, если завтра бог заберёт у меня эту жизнь, будет не так страшно, потому что я успел её закончить.

— Я хочу на неё посмотреть! — решительно сказала Кристина, глядя через его плечо на свой портрет и снова чувствуя волну эмоций, подступающих к горлу откуда-то из груди.

— Но ты же понимаешь, я не смогу принести её сюда, оставаясь незамеченным. Честно говоря, её и развернуть здесь будет негде, — ответил Яков, профессионально оценивая размеры стен в комнате девушки.

— Но я должна её увидеть, а это значит, что ты должен мне её показать!

— Тогда приходи ко мне в студию, — просто ответил он.

— Но я обещала отцу не ходить в серый дом, — сказала она задумчиво. — Нет, подожди... Я обещала ему, что меня там не увидят. А кто может меня там увидеть? Ты ведь живёшь один?

— Да, один.

— К тому же ночью нормальные люди должны спать.

— Ночью? — Яков не до конца понимал, какие мысли роились в этой прекрасной головке.

— Ясное дело, — сказала она тоном человека, принявшего решение. — Я приду к тебе в два часа ночи, в это время спит весь город, даже швейцар Гюнтер, который последние двадцать лет страдает бессонницей. Чтобы ты был спокоен, я приду в плаще иностранца — в таком же, в котором тебя привела фрау Глокеншпиль. Где твоя мастерская?

— Улица Образования, дом двадцать восемь.

— Номер мог бы не называть, я смогу отличить серый от бирюзового. Ой, прости, — она подошла к Якову ближе и отрывисто поцеловала его в губы. — Подожди! А нам хватит света, чтобы рассмотреть картину ночью?

— Хватит, — уверенно ответил Яков. — Я писал в основном по ночам, у меня есть своя система освещения. К тому же сейчас рано светает — самые короткие ночи в году.

Кристина ещё раз поцеловала художника и выпроводила его тем же путём, которым до этого ушла фрау Глокеншпиль.

Ровно в половину второго ночи этого же, вернее, уже следующего дня, как они и договорились, Яков встретил девушку на площади Святого Исаака Ньютона. Хотя она и обещала отличить серый от бирюзового, молодой человек не допускал, чтобы дочь министра Эстетической Гармонии, и тем более понравившаяся ему девушка, шла ночью одна через весь город. Он уже чувствовал ответственность за неё, и это ему даже нравилось.

Несмотря на то, что ночь действительно была короткой, а праздники ещё продолжались, по дороге они мало кого встретили. Да и вряд ли кто-то стал бы беспокоить двух иностранцев, быстро шагающих по улице в длинных плащах с капюшонами, надвинутыми на самые лица. Подвыпившие горожане, а других в такую пору на улицах быть не могло, конечно, были любопытными и говорливыми, но иностранных языков не знали. Учить их в Гланцштадте было ни к чему: новости печатали в единственной газете на родном языке и крупным шрифтом. Яков и Кристина шли молча, чтобы не привлекать к себе внимания, и через полчаса благополучно

дошли до двадцать восьмого дома по улице Образования. Яков ещё раз огляделся по сторонам, открыл серую дверь и впустил гостью.

Войдя вслед за ней, он зажёл свет, они скинули плащи, перестали быть иностранцами и снова стали местными жителями: она — дочерью министра, он — художником-ахроматом. Кристина сразу с любопытством стала осматривать жилище художника, на первый взгляд больше напоминавшее скит отшельника или даже склеп. Обилие серого цвета непривычно резало глаз, так что девушка сначала даже прищуривалась. Но очень скоро глаза привыкли, и она с интересом продолжила изучение нового незнакомого помещения.

Коридор не выглядел аккуратным, серые стены местами потрескались, половицы скрипели, как скрипят мачты на старом корабле при порывах норд-оста. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, и Кристина мельком увидела то, что, по-видимому, было спальней хозяина: простая железная кровать, серое одеяло и одинокая свеча, стоявшая рядом на табуретке — больше ничего. Можно было подумать, что здесь не живёт человек, а обитает тень.

Но по-настоящему удивилась она, оказавшись в мастерской. Комната, в которой творил Яков, являлась полной противоположностью всему дому. Здесь странным образом сочетались творческий хаос и педантичный порядок. К одной стене были беспорядочно прислонены полтора десятка только начатых и уже законченных холстов. Вторую украшало большое окно с занавесками разной толщины — от прозрачных тюлевых до плотных суконных, с их помощью художник, видимо, регулировал свет. Третья стена просто была завешана плотной тёмно-серой драпировкой, возле неё не стояло ничего. На широком столе были разбросаны обломки простых карандашей и угольки разного размера. В то же время рабочее пространство около мольберта было просто идеальным. Банки с кистями, множество тюбиков с краской, шпатель и заточенные рабочие карандаши лежали на маленьком столике в строгом порядке, как вышколенные прусские солдаты по росту стоят в строю, готовые броситься в атаку по первому приказу командира.

Серый цвет больше не раздражал гостью, Кристина уже не обращала на него внимания. Наоборот, теперь он казался ей идеальным именно для этого места. Он переливался, дышал и нашептывал ей тайны хозяина дома.

Яков Грау подошёл к стене, завешанной драпировкой. Ещё только войдя в мастерскую, Кристина сразу догадалась, что то, за чем она сюда пришла, находится именно за этой плотной почти чёрной тканью.

— Прежде чем я открою занавеску, — начал он с заметным волнением, — я хочу сказать тебе несколько слов. Я не знаю, как эта картина подействует на зрителя, не знаю, что почувствуешь ты. Сам я к ней уже привык, а ты увидишь в первый раз, поэтому я хочу, чтобы ты поняла, как она родилась.

Пять лет назад не стало моих родителей. Оспа тогда многих покосила в нашем городе, но мне не было от этого легче. Мама и папа ушли друг за другом за одну неделю. Тогда я остался совсем один в этом сером доме и сером мире. Хотя я жил в сером мире уже давно, но тогда я впервые ощутил своё одиночество. Не стало мамы, которая всегда меня утешала, не стало отца, у которого всегда можно было спросить совет. Когда я разбирал вещи отца: его кисти, краски, эскизы и наброски, я нашёл этот большой холст и вдруг понял, что он оставил мне не пустоту, которая меня так тяготила, а чистый лист, на котором я должен написать в этой жизни что-то своё. Тогда я и начал создавать свою картину.

Она — мой долгий разговор с родителями, которые смотрят на меня с небес. В каждом мазке — мой вопрос, в каждой линии света — их ответ, который я пытаюсь услышать и донести до людей. Пять лет назад мир не просто потускнел — он замолчал. Эта картина — моя попытка заставить его зазвучать вновь. Но не криком ярких цветов, которые мне недоступны, а тишиной чистого света. Это моя молитва, моя исповедь и моё отпущение грехов на одном холсте, в одном полотне.

Я написал её потому, что должен доказать людям одну простую вещь: душа мира не пёстрая — она вне и выше цвета. Она одноцветна, и в то же время состоит из миллиона оттенков. А душа мира — это душа человека. Соловей будет соловьём, как его не раскрашивай. Также и человек останется человеком, если снять с него цветные наряды. Цвета не существует! Любой цвет — это лишь косметика, грим на лице истинной красоты. Я хочу снять этот грим и показать настоящее лицо, если угодно, божественный образ этой жизни — прекрасный в своей строгой, бесстрастной ясности. Нет и не будет ни охряного, ни бирюзового, нет даже серого! Есть только Свет и Тьма, перемешанные в разных пропорциях.

С этими словами он широким привычным жестом дёрнул плотную драпировку и сдвинул её налево, так, что та собралась складками в самом углу мастерской. Кристина подняла глаза и замерла на полувдохе.

Исполинское полотно, высотой почти в два человеческих роста, не изображало ничего узнаваемого — ни фигур, ни пейзажей. Но «Оратория Света» и не была картиной в её привычном понимании. Это была вселенная, заключённая в прямоугольник холста. С первого взгляда она обрушивалась на зрителя первозданным ледяным безмолвием. Казалось, вот он — тот самый ужас пустоты, которого каждый человек боится во сне. Но стоило глазу привыкнуть, как из хаоса начинал рождаться строгий, математически выверенный порядок. В центре композиции, словно удар гигантского колокола, звучала зона безупречно белого света — не краски, а самого Источника, невидимого маяка, свет которого, будто многократно усиленный оптикой, бил в зрачки. Это был даже не свет, а сияющая пустота, из которой рождался мир. Она не слепила, а гипнотизировала, завораживала, затягивала внутрь, Кристина шёпотом сказала, что это Глаз Бога, художник согласно кивнул.

От этого эпицентра расходились концентрированные волны, каждая — сложный аккорд чистых эмоций, состоящих из полутонов и оттенков серого. Где-то они сгущались до бархатистой, вязкой, почти осязаемой тьмы, затягивающей взгляд зрителя. В других местах рассыпались мириадами серебряных брызг, словно звук высокой ноты, застывшей в воздухе. Чистая музыка ошеломляющей силы, сыгранная оркестром из тысячи оттенков белого, чёрного и серого.

Но само полотно серым не было. Это была картина вне цвета. Казалось, художник писал не красками, а самой материей света и тьмы. Где-то мазки ложились густыми, бархатно-чёрными аккордами, поглощающими взгляд. В других местах он растушёвывал свинцовую мглу до состояния воздушного, серебряного тумана. Он использовал шпатель, нанося густые пласты краски, создавая рельеф, который отбрасывал настоящие тени, так что картина менялась в зависимости от угла и времени суток, она жила собственной жизнью.

Но главным в полотне была даже не гениальная техника автора, а эмоция, которую оно передавало. Оно дышало. Оно звучало, начинаясь тишиной абсолютного нуля, нарастая до громоподобного крещендо в центре и растворяясь в изнеможённом, умиротворённом пианиссимо по краям.

— Я поняла, почему ты назвал её ораторией! — восторженно прошептала Кристина. — Это как застывшая музыкальная партитура. Вот здесь, — Кристина указала в центр холста, — солирующее сопрано. Чистый луч света, он поёт только одну ноту, но такую высокую и пронзительную, что её нельзя услышать иначе, чем сердцем и душой. А вокруг — мощный хор теней, — продолжала она заворожённо, — от густого баритона глубокой тьмы до лёгкого фальцета серебристого полусвета. Они ведут бесконечный диалог, подхватывают и развивают главную тему, то вступая в унисон, то расходясь в терцию. Каждая линия, каждый изгиб — это партия скрипки или виолончели в твоём незримом оркестре. Яков, ты гений!

— Именно! — подхватил Яков, пропустив похвалу мимо ушей. Он был удивлён, как точно и быстро девушка уловила настроение картины (сам он в тонкостях музыки не разби-

рался). — А вместе они исполняют гимн. И это гимн не цвету, а самой основе мироздания — свету, который был до всяких красок и который будет после них!

Не отрывая глаз от картины, Кристина вдруг поняла, что ей нужно стать лучше. Не громче, не ярче, а просто лучше. Честнее, яснее, проще. Девушке остро захотелось этого. Ей обязательно нужно было оправдать доверие, выполнить немое требование этого Глаза Бога, с добротой и ожиданием глядевшего на неё с полотна. И начинать надо было прямо сейчас.

— Ты должен показать её людям! — сказала Кристина тоном, не терпящим возражения. — И сделать это немедленно!

— Но люди ещё спят, — улыбнувшись, ответил Яков, указав на настенные часы, стрелки которых показывали половину третьего ночи.

— Значит, у нас есть время, чтобы подумать, где её повесить и сделать это! — ответила она уверенно.

— И где ты предлагаешь её повесить? — спросил Яков. — На здании вашего министерства?

— Не говори глупостей! Нормальные люди по доброй воле туда не ходят. Надо вывесить её на стене собора. У тебя есть тележка?

— Есть, — ответил Яков, подумав пару секунд. — Но на церковь картину вешать нельзя. Я сам думал об этом, но тогда меня сразу арестуют и засудят за оскорбление веры. Может быть, на здании Академии или у входа на городской рынок?

— Нет, это обязательно нужно сделать на соборной площади! Тем более сегодня город будет отмечать годовщину поступления Святого Исаака Ньютона в Кембридж. Там будет уйма народа. Постой! Прямо напротив собора стоит пороховой склад, мы с тобой сегодня его проходили. Его только что перекрасили, и ещё не убрали строительные леса, так что нам будет удобно забраться на самый верх. К тому же длинный козырёк крыши укроет холст от дождя. Это идеальное место! Как её снять со стены? — Кристина снова взглянула на полотно, и мурашки медленной тяжёлой волной пробежали по её спине.

Яков принёс инструменты, и через четверть часа «Оратория Света», свёрнутая в длинный рулон, лежала у их ног. Холст оказался тяжёлым, так что они вдвоём еле-еле вынесли его на улицу. Дойдя до соседнего дома, заговорщики водрузили тяжёлый рулон на тележку фрау Кланглих, которую та так и не перекрасила. Раньше в эту тележку запрягали маленького ослика, но вот уже два года как соседка его продала, и колымага стояла без дела, мешая проезду водовозов и молочников. Яков взялся за оглобли, Кристина встала сзади, чтобы толкать воз, и процессия тронулась в путь. Дорога почти везде шла под уклон, но всё равно они ехали до площади почти целый час. Когда же они на ней оказались, на востоке, в стороне городских сторожевых башен, уже занимался рассвет. Нужно было торопиться.

Поднимать тяжёлый холст вверх оказалось труднее, чем везти его через весь город, к тому же Яков и Кристина уже порядком устали. Но их подпитывала незримая энергия, которая исходила от картины, даже свёрнутой в тугой рулон. Когда же первые солнечные лучи посеребрили купол собора Святого Исаака Ньютона, «Оратория Света» заняла своё место на бирюзовой стене склада прямо напротив входа в этот самый собор. Заговорщики спустились вниз и уже с площади смотрели на то, что у них получилось.

То, что вблизи ещё как-то можно было принять за абстракцию, с большого расстояния смотрелось совсем по-другому. В обманчивом хаосе теперь сперва угадывалась, а затем ясно читалась архаичная структура — то ли кристаллическая решётка мироздания, то ли партитура великой божественной симфонии.

Часы на городской ратуше пробили половину пятого. Яков и Кристина сделали своё дело, пора было уходить. Девушка поцеловала художника и, не оборачиваясь, быстро зашагала в сторону дома. Яков, которого так и подмывало остаться и посмотреть, как дело его жизни будет воспринято горожанами, взял себя в руки и тоже собрался домой. Перед уходом он ещё раз

взглянул на «Ораторию Света». Он понимал, что, возможно, делает это в последний раз. Кто знает — может быть, расторопные надзиратели за палитрой снимут и уничтожат холст ещё до того, как его увидят люди? Он успокаивал себя лишь тем, что точное и педантичное министерство начнёт работать не раньше девяти. И получается, что много людей всё-таки полотно увидят. А если у него получится сделать лучше хотя бы несколько человеческих жизней, можно считать, что свою он прожил не зря.

Яков ещё раз заглянул в Глаз Бога и пошёл домой. Он не сомневался, что скоро его найдут. Старая тележка фрау Кланглих осталась стоять перед пороховым складом. Он не собирался тащить её обратно — пусть сегодня водовозы и молочники работают спокойно.

Глава шестая. Сила Света против силы Цвета

В это утро вопреки заведённому правилу Зигфрид фон Гельб пришёл на работу на три минуты позже обычного, и это несмотря на то, что он жил по соседству с министерством. По дороге министру пришлось пробираться через плотные потоки людей, торопливо идущих в сторону соборной площади. Фон Гельб отметил для себя эту странность: да, сегодня отмечалась памятная дата Святого Исаака Ньютона, но это был совсем не главный праздник — не день рождения, не день смерти и даже не день открытия Теории Света, а всего лишь годовщина поступления в колледж. Министр озадаченно нахмурил лоб и прибавил шаг.

Второй сюрприз ждал его у кабинета. Этот сюрприз переминался с ноги на ногу и выглядел как начальник городской полиции Карл Регель. Фон Гельб недолюбливал Регеля: тот был недалёким служакой, знавшим лишь полицейские уставы и умевшим только отдавать и выполнять приказания. По службе министр предпочитал иметь дела с заместителем Регеля — Людвигом Гехаймом. Вот кто был сыщиком от бога: он понимал задачу с полуслова, часто — без слов, а иногда выполнял поручение ещё до того, как фон Гельб его придумал. Министр давно бы уже заменил никчёмного Регеля, но тот был племянником старого бургомистра и к тому же двоюродным братом жены самого фон Гельба, а семейных скандалов министр Эстетической Гармонии не любил.

— Что у вас случилось, господин Регель, если вы решились начать службу на час раньше? — спросил он главного полицейского, пропустив его за собой в кабинет. — Вы нашли злодея, который продавал в аптеках куриный помёт вместо голубинового?

— Видите ли, ваше высокопревосходительство, — начал тот, подбирая слова, что обычно давалось ему с трудом, — там, на площади, рисунок.

— Какой ещё рисунок? — коротко спросил министр, давая понять, что не собирается тратить время на пустяки.

— На пороховом складе. Большой, как ворота в магазинах Кауфмана. Штука такая, вроде картинки или живописи. И народу как на ярмарке в дни, когда жалование платят. Даже женщины есть.

— Я не понял, на стене склада висит картина? — Фон Гельб уже привык, что каждое слово нужно вытягивать из Регеля клещами и приготовился к тому, что разговор затянется.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, картина, — облегчённо ответил главный полицейский.

— И что же на ней изображено?

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство. Но красиво. Как у меня в погребке, когда свет тухнет. Вроде и не темно, но и не видно толком ничего. А ты точно знаешь, что бутылки справа.

— Так что же, на картине бутылки?

— Так точно, ваше высокопревосходительство, бутылки, — ответил Регель.

— Может, что-то ещё? — Фон Гельбу даже стало интересно. — Люди? Животные?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. И люди, и животные.

— Какие животные? — спросил министр, улыбнувшись и уже предугадывая ответ. — Кошки, тигры, коровы, слоны?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Кошки, тигры, коровы и слоны. — Регель был рад, что министр сам подсказывает ему ответы.

— И что же, люди на эту картину смотрят?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Смотрят. Глаз не сводят. И я не сводил, пока меня вахмистр за рукав не оттащил и с площади не вывел. Рукав он мне даже порвал, так уж мне уходить не хотелось. Красиво. Как у меня в погребе.

— И что, много людей? — спросил фон Гельб, которому всё меньше нравились ответы полицейского.

— Целая площадь, ваше высокопревосходительство, — радостно ответил полицейский. — Тысяч пять-семь, не меньше.

Радости собеседника министр не разделял. Это было серьёзно. Ни на один праздник Святого Исаака Ньютона соборная площадь не собирала столько народу, а ещё в молодости отец учил Зигфрида, что законопослушный гражданин толпой собираться не будет. Зачем толпиться, если тебя устраивает руководство страны?

— Значит так, господин Регель, — фон Гельб перешёл к языку приказов, единственному, который понимал начальник полиции, — я не знаю, какие там бутылки, кошки и тигры, но сегодня праздник нашего почитаемого святого. Прихожане не должны отвлекаться, так что картину эту надо снять. И доставьте её сюда. Здесь посмотрим, какие там коровы и слоны.

— Никак невозможно, ваше высокопревосходительство. Надзиратели за палитрой пытались пробраться, но люди их не пустили.

— Причём здесь надзиратели? — удивлённо поднял брови фон Гельб. — Какого цвета картина?

— В том-то и дело, что непонятно. Вроде серым нарисована, но сама совсем не серая. А когда надзиратели стали пробираться, те горожане, что ближе к рисунку были, просто ряды теснее сомкнули, а те, которые в начале площади, даже силу применили к людям вашим.

— То есть как, силу? — министр не верил своим ушам.

— Палками их прогоняли, — с непонятной радостью ответил Регель.

— Откуда там палки?

— С дуба наломали.

— Давно пора было этот дуб срубить, — зло процедил министр, снимая с себя перевязь и меняя туфли с парадных на обычные.

— Так нельзя, под ним сам Святой Исаак Ньютон сидивал.

Фон Гельб знал, что Ньютон никогда не покидал Англии, но легенду о тайном визите учёного в их город придумал в своё время его прадед — второй из фон Гельбов, служивший министром Эстетической Гармонии. Тогда все современники великого учёного уже умерли и проверить эту историю было невозможно. Но начальнику полиции, а тем более толпе на площади знать это было не обязательно.

Зигфрид фон Гельб надел свой обычный, не парадный камзол, в сопровождении начальника полиции вышел на улицу и зашагал к собору. Ему нужно было лично посмотреть, что творится в городе, и в зависимости от увиденного уже принимать решения. Попутно он приказал Регелю вызвать в министерство его заместителя Гехайма: могла понадобиться нормальная голова, а не только та, что носит фуражку полицейского от дождя и солнца.

Не выходя на площадь, чтобы не затеряться в толпе, министр Эстетической Гармонии сразу со служебного входа зашёл в собор Святого Исаака Ньютона и поднялся по винтовой лестнице на небольшой балкончик над входным порталом — оттуда пороховой склад должен быть виден лучше всего.

Людей внизу действительно было много. Живое море наполовину бирюзового наполовину охряного цвета разлилось на всю площадь. С трёх сторон в это море впадали реки-улицы, по которым всё прибывали и прибывали горожане. При этом фон Гельба поразила тишина, неестественная для такого большого скопления народа. Казалось, выходя на площадь, люди давали обет молчания или просто лишались дара речи. Министр Эстетической Гармонии поднял глаза на стену порохового склада и сам увидел причину этой тишины.

В один миг Зигфрида фон Гельба накрыло чувство, которое он последний раз испытал тридцать девять лет назад. Тогда шестнадцатилетним мальчишкой он стоял на лугу Терезы в

Мюнхене и смотрел на многоцветие баварской ярмарки. Этим чувством был благоговейный восторг, смешанный с ужасом от нереальности происходящего.

Картина не просто висела на стене. Она поглощала пространство, превращая площадь в преддверие храма, а толпу в её паству. При этом собственно собор, стоявший напротив, не составлял никакой конкуренции «Оратории Света», люди его просто не замечали. Взгляд министра, вышколенный годами на поиске цветовых несоответствий, впервые встретил абсолют. Это была не стена порохового склада. Это была Вселенная до Сотворения Мира, где Господь ещё не отделил свет от тьмы, они ещё не разошлись по разным углам, а пребывали в напряжённом живом единстве. Центр полотна ослепил министра идеальной белизной, вопрошающим светом, который, расходясь к краям, дробился на мириады оттенков, каждый из которых был наполнен смыслом. Зигфрид видел пепел сожжённых юношеских иллюзий, сталь непоколебимой воли и туман невысказанных, а потому неясных надежд. Глаз министра скользил по линиям силы, считывал ритм теней, и подсознание отзывалось щемящим чувством узнавания — будто он впервые увидел ясную схему своей собственной души, очищенную от суевы и пестроты меняющихся цветов года.

Самое чудовищное (и это больше всего испугало министра): ему захотелось стать лучше. Хотелось прямо сейчас сбросить с себя этот дурацкий бирюзовый камзол, этот гнёт титула и должности, спуститься на площадь, к людям, и стоять в этой толпе рядом с гражданами, которых, как ему показалось, он всегда любил, ценил и уважал. Прикасаюсь плечом к незнакомым людям, чтобы в едином порыве раствориться в этом безмолвном хоре света и тени.

Тем временем там, внизу, происходило таинство, неведомое всемогущему министру. «Оратория Света» гипнотизировала людей. Многие просто стояли, не отрывая глаз от холста, кто-то задорно смеялся, некоторые плакали.

Зигфрид фон Гельб через силу закрыл глаза, чтобы избавиться от этой внезапной зависимости, и тут его как будто ударило током.

«Предатель! — прошипел внутри голос его отца. — Понимай и служи! Ты страж системы, которую твои предки строили веками, а то, что ты сейчас видишь, — это вирус чумы, оспы, тифа, холеры и чесотки вместе взятых».

Министр Эстетической Гармонии до боли закусил губу, развернулся на каблуках и, не оборачиваясь, покинул балкон. Он дал себе слово больше никогда не смотреть на эту картину, он не мог позволить, чтобы какой-то кусок холста давал ему, государственному чиновнику высшего класса, указания, как жить дальше. Он быстро спустился по лестнице и уже через четверть часа был в министерстве. Надо было что-то предпринять, и это «что-то» нужно было делать немедленно.

Перед дверью кабинета его ждал Людвиг Гехайм — расторопный заместитель начальника полиции.

— Здравствуйте, Людвиг, вы мне нужны. — Фон Гельб без церемоний пожал руку полицейскому, что должно было тому польстить. — Вы видели картину на площади?

— Видел, господин министр, — ответил Гехайм. — Мне доложили ещё утром, и я был там одним из первых. Но людей было уже больше сотни, и снять полотно оказалось невозможно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.